

*В поэзию его напутствовал нобелевский лауреат по литературе Борис Пастернак, о нем комплиментарно писали нобелевские лауреаты Иосиф Бродский и Александр Солженицын. Он был одним из организаторов легендарной поэтической группы СМОГ. Работал экскурсоводом на Соловках, в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовском музеях. Лишенный возможности трудиться по профессии, искусствоведом, после публикации на Западе открытого письма «Ко всем нам», приуроченного к двухлетию высылки Солженицына, – работал сторожем, истопником и дворником в московских и подмосковных церквях и храмах. В 1982 году он уехал, выданный в эмиграцию, а в 1990-м вернулся, когда многие, наоборот, бежали из страны. Заведовал отделом публицистики и поэзии в журнале «Новый мир». Получил премию Александра Солженицына за «правдивую точность поэтического слова, за богатство и метафоричность языка», и за недвусмысленную гражданскую позицию, что абсолютно его характеризует. Он блистательно владеет словом, или слово владеет им, что суть одно и то же. Он – поэт первого ряда, ему исполняется семьдесят лет, и мы искренне поздравляем его с юбилеем и желаем долгих лет жизни и бесконечного вдохновения!*

*Редакция журнала «Нижний Новгород»*

\* \* \*

*Отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон. Жизнь замерла. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий.*

Из последнего письма отца Павла Флоренского с Соловков (4.VI.1937)

Волны падают – стена за стеной  
под полярной раскаленной луной.

За вскипающую зыбью вдали  
близок край не ставшей отчей земли:

соловецкий островной карантин,  
где Флоренский добывал желатин

в сальном ватнике на рыбьем меху  
в продуваемом ветрами цеху.

Там на визг срываться чайкам легко,  
ибо, каркая, берут высоко

из-за пайки по-над массой морской,  
искушающие крестной тоской.

Все ничтожество усилий и дел  
человеческих, включая расстрел

и отчаянные холод и мрак,  
пронизавшие завод и барак,

хоть окрест, кажись, эон и иной,  
остаются посегодня со мной.

Грех роптать, когда вдвойне повезло:  
ни застенка, ни войны. Только зло,

причиненное в избытке отцу,  
больно хлещет и теперь по лицу.

Преклонение, смятение, боль  
продолжая перемалывать в соль,

в неуступчивой груди колотьба  
гонит в рай на дармовые хлеба.

Распахну окно, за рамы держась,  
крикну: «Отче!» – и замру, торопясь

сосчитать, как много минет в ответ  
световых непродолжительных лет.

\* \* \*

Россия, ты моя!

И дождь сродни потопу,  
и ветер, в октябре сжигающий листья...  
В завшивленный барак, в распутную Европу  
мы унесём мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими  
в чреде глухих годин.  
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме  
бурьяна и руин,

вот-вот погаснешь ты.

И кто тогда поверит  
слезам твоих кликуш?  
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери  
останки наших душ.

...Россия, это ты  
на папертях кричала,  
когда из алтарей сынов везли в Кресты.  
В края, куда звезда лучом не доставала,  
они ушли с мечтой о том, какая ты.

1978

\* \* \*

В пору богомерзкую, ближе к умиранию,  
впрочем, с обретением отеческих пенат,  
поминаю вешнюю, тёплую Британию,  
всю в вишнёвой кипени много лет назад:  
как чему-то встречные клерки веселились  
в том раю потерянном делу вопреки  
и галёрку в опере, куда не доносились  
Командора гулкие, видимо, шаги.  
Времена далёкие – аж до сотворения  
космоса – открытого для души,  
то бишь, самостийницы вплоть до отделения  
и переселения в иные шалаши.  
Говорят, «влияние английских метафизиков»,  
«в духе их наследия» – не знаю, не читал;  
но твоё присутствие той же ночью близкое  
незаметно вынесло спящего в астрал.  
С той минуты многое кануло и минуло.  
Стал в своём отечестве я лохом и ловцом  
человеков... Ты меня давно из сердца вынула,  
сходного с подёрнутым рябью озерцом.  
В целом, тишина окрест прямо погребальная,  
в общем, идеальная пожива для молвы.  
Только где-то слышится перестрелка дальняя  
кем-то потревоженной солнцевской братвы.

1997

## Пленник

За падавшим в реку мячиком,  
а может, и не за ним,  
я прыгнул с обрыва мальчиком  
и выплыл совсем другим.  
Да вот же он, неукраденный,  
не шедший в распыл, в навар,  
не ради забавы даденый,  
уловленный цепко дар.

С тех пор из угла медвежьего,  
неведомого дотоль –  
на карте отыщешь где ж его –  
ко мне поступала боль.

Кончающиеся в бедности  
намоленные края –  
здесь тоже черта оседлости  
невидимая своя...

Вскипали барашки снежные,  
и мы, отощав с тоски,  
как после войны – мятежные  
садились за колоски  
убогого слова вольного.  
Потом, перебив хребет  
души, из райка подпольного  
нас вытянули на свет.

Ползите, пока ходячие,  
в зазывный чужой капкан.  
Глядите, покуда зрячие,  
на лобную казнь Балкан.  
Просторней весной сиреневой  
заброшенные поля.  
Но коже подстать шагреновой  
сжимается мать-земля.

Догадки о русском Логосе  
отходят к преданьям – в синь,  
оставив звезду не в фокусе  
и приторную полынь  
во рту у стихослагателя,  
глотающего слюну,  
как будто у неприятеля,  
прижившегося в плену.

1999

## Под Вязьмой

*Есть место им в полях России...*

Пушкин

На весях Вязьмы минувшим летом  
гостил, — где некогда в аккурат  
под старой липой с подсохшим цветом  
спал на походной кошме Мюрат.

Есть безответная, вероятно,  
загадка, кто б ни давал приказ,  
в немотивированных затратных  
бросках в Россию армейских масс.

Живой, как пишется в сводках, силы  
без счёту тут полегло, и вот  
теперь поля её суть могилы  
своей и многих чужих пехот.

И только певчие невидимки  
их тут и чествуют в заревой  
слоящейся по бурьянам дымке  
ещё при звездах над головой.

2014

\* \* \*

Как работяг на полюсе,  
где замерзает ртуть,  
ветер сгибает в поясе  
и не пускает в путь.  
Всё интенсивней тёмное  
светлого визави.  
Много осталось тёплого  
в старой моей крови,  
тёплого и мятежного.  
Но в гулевой груди  
ласкового и нежного  
зверя не разбуди.

Стать бы тобою чаемым,  
вновь заплутав в пути,  
малоимущим фраером  
лет двадцати пяти  
с траченным прямой голосом.  
Чтоб у замёрзших рек  
сыпался нам на волосы  
и парусинил снег.  
Чтобы вдвоём с усилиями  
шли мы рука в руке,  
шли...  
И вожатых с крыльями  
видели вдалеке.

2012

\* \* \*

Признаёшь ли, Отечество, сына  
после всех годовщин?  
Затянула лицо паутина,  
задубев на морозе, морщин.  
И Блаженный сквозь снежную осыпь  
в персиянских тюрбанах своих  
на откосе,  
словно славное воинство, тих.

Человеки  
те и те, и поди разреши:  
где иовы-калеки,  
где ослабленные алкаши,

вновь родных подворотен  
отстоявшие каждую пядь.  
Нам со дна преисподней  
с четверенек неловко вставать.

...Расставаясь с Украиной,  
пошатнулся рукастый репей,  
сей дозорный безкрайних  
отложившихся волн и степей.  
Родовую землю  
у каких пепелищных огней,  
аки хищную птицу,  
нам отпаивать кровью своей?

1992

## СНЫ

Зимою – впадиной каждой, полостью  
пренебрегавшие до сих пор  
льды заполняют едва ль не полностью  
речные русла, объем озер.  
Лишь луч, нащупавший прорубь черную  
там, где излучки в снегах изгиб,  
работу видит локомоторную  
мускулатуры придонных рыб.

Россия! Прежде военнопленную  
тебя считал я, и как умел,  
всю убеленную, прикровенную  
до горловых тебя спазм жалел.  
И ныне тоже, как листья палые  
иль щука снулая блеск блесны,  
я вижу изредка запоздалые  
неразличимые те же сны.

2004

## Кишмиш

За соснами в алых лианах  
осенняя волглая тишь.  
Туда с пустотою в карманах  
приедешь, верней, прилетишь.

В присутствии бунинской тени  
его героине опять  
начнешь, задыхаясь, колени  
сквозь толстую ткань целовать.

И шепчешь, попреков не слыша,  
одними губами: «Прости,  
подвяленной кистью кишмиша  
потом в темноте угости.

Пусть таинство нашего брака  
с моей неизбывной виной  
счастливцу поможет, однако,  
в окопах войны мировой.

И в смуту, когда изменили  
нам хляби родимой земли,  
прости, что в поту отступили,  
живыми за море ушли.

В сивашском предательском иле,  
в степи под сожженной травой  
и в сент-женевьевской могиле  
я больше, чем кажется, – твой».

1999

\* \* \*

Осень выдалась тогда золотая –  
ни дождей, ни хмури.  
Под Изборском ясновидящая слепая,  
как вошёл к ней в горницу, сразу признала:  
– Юрий.

Вся светилась кротостью голубиной,  
словно принимала меня за брата.  
А в промытых окнах над котловиной  
раскалялся меркнувший спектр заката.

Несравненна эта на койке узкой  
красота молитвенной жизни русской.

С той поры слизнула судьба полвека.  
Прогулял я жизнь, забывал поститься,  
одичал в норе своего сусека,  
походя всё меньше на человека,  
думающего, что ему простится.

Сам теперь я часто лежу, болея.  
По другую сторону листопада,  
если повидаемся, Пелагея,  
вновь меня признаешь ли там за брата?